

三島由紀夫

# ЧАСТЬ 1

## ЛЕТО

### Глава 1

Пожелав сыну спокойной ночи, мать заперла Нобору в спальне. А если в доме случится пожар? Мать, конечно же, клянется, что первым делом бросится отпирать его дверь. Интересно, что она скажет, если дверь перекосит от жара, или замочную скважину забьет гарью, или заклинит замок? Тогда ему придется прыгать в окно... Но ведь под окном его спальни — бетонная площадка, а второй этаж дома безнадежно высок.

Поделом ему. Запирать Нобору стали после того, как однажды ночью он сбежал, поддавшись на уговоры Главаря. Сколько его потом ни мучили расспросами, имени приятеля он так и не выдал.

За время оккупации их дом на холме Ятодзака — Йокогама, район Нака-ку, квартал Яматэ-тё, — выстроенный покойным отцом, был реквизирован для постоя офицеров чужой армии, его перестроили и установили туалеты даже в спальнях второго этажа. В общем-то, нынешнее заточение не причиняло Нобору неудобств, но для тринадцатилетнего подростка выглядело довольно унижительным.

Однажды утром — он тогда был в доме один — Нобору с досады тщательно обследовал свою комнату.

Граничащая с материнной спальней стена представляла собой огромный встроенный комод. Когда, вымещая обиду, он вытащил из него все ящики и расшвырял по полу одежду, обнаружилось, что одна из ниш пропускает в комнату свет.

Сунув в нее голову, он стал искать источник света. Им оказалось яркое летнее солнце, отраженное от моря и заполнившее пустую соседнюю комнату.

Если как следует изогнуться, можно устроиться в нише. Даже взрослый, хорошенько скрючившись, мог втиснуться сюда по поясу.

Сквозь щель родительская спальня показалась Нобору совершенно незнакомой.

Слева у стены блестит латунию двуспальная кровать в новоорлеанском стиле, выписанная отцом из Америки, да так и оставшаяся после его смерти. Кровать аккуратно застелена белым ворсистым покрывалом с большой буквой «К»: фамилия у Нобору — Курода. На покрывале валяется темно-синяя соломенная шляпа с длинной бирюзовой лентой. Голубой вентилятор на ночном столике. Справа у окна овальный трельяж — из небрежно прикрытых створок льдинкой торчит острый угол зеркала. На трельяже полно бутылочек с одеколоном, пульверизаторов для духов, а еще лиловая бутылка с лосьоном и сверкающая гранями шкатулка с пуховкой, из богемского стекла... Рядом, словно сухая ветка криптомерии, свернулись темно-коричневые кружевные перчатки.

У стены напротив трельяжа диван, торшер, два стула, изящный столик. К спинке дивана льнут пальцы с незаконченным вышиванием. Теперь это

немодно, но мать любит всякое рукоделие. Узора отсюда почти не разглядеть, видно только вышитое наполовину крыло птицы, кажется разноцветного попугая, на серебристо-сером фоне. Тут же валяется чулок. Тонкий бежевый чулок, обвивающий дамасский плетеный диван, наполняет атмосферу в комнате странной тревогой. Видимо, перед выходом мать заметила на чулке стрелку и наспех переоделась.

В окне только яркое небо и облако, отражающее море и из-за этого кажущееся тугим и глянцевым, будто покрытым эмалью.

Помещение, которое разглядывал сейчас Нобору, ничем не походило на привычную материну спальню. Казалось, он подглядывает в комнату отлучившейся незнакомки. Каждый уголок здесь дышал безупречной женственностью. В воздухе витал отзвук печального аромата.

Внезапно Нобору посетила странная мысль.

А каким образом возникла эта щель? Сама по себе, или же в доме, где еще недавно стояли на постое оккупанты...

Нобору вдруг представил, как в пыльной нише, где сейчас скорчился он сам, устраивался, скрючившись, какой-то солдат. При мысли об этом воздух в тесном пространстве резко сделался кислосладким и едва выносимым.

Извиваясь всем телом, Нобору задом выбрался наружу и бросился в соседнюю комнату.

Никогда он не забудет того странного чувства.

Помещение, куда он ворвался, совершенно не походило на виденную им загадочную комнату —

перед ним была привычная и скучная спальня, вновь превратившаяся в место, где вечерами мать, отложив вышивание и позевывая, помогала ему с домашним заданием. Где она ворчала и жаловалась и где выговаривала ему за вечно криво повязанный галстук. Где внушала ему, что хватит то и дело бегать в мамину спальню якобы взглянуть на кораблики — он ведь уже не ребенок. Где сверяла принесенную из магазина бухгалтерскую ведомость или, подперев щеку, подолгу сидела над таможенными декларациями.

Нобору исследовал щель с этой стороны.

Сразу и не найдешь.

Если хорошенько приглядеться, то там, где по верху деревянной облицовочной панели бежит бордюр со старинной тонкой резьбой, в одном из фрагментов резьбы, среди набегающих друг на друга волн, ловко прячется щель.

Так же стремительно вернувшись в свою комнату, он свернул и сунул на место разбросанную одежду, аккуратно задвинул ящики и мысленно поклялся не делать в дальнейшем ничего такого, что могло бы привлечь к комоду внимание взрослых.

С тех пор как Нобору обнаружил щель, он — как правило, в те вечера, когда мать особенно к нему придиралась, — едва за ней поворачивался ключ, беззвучно выдвигал ящик и подолгу глядел, как она собирается ко сну. В те вечера, когда она бывала с ним добра, он никогда не подглядывал.

Нобору узнал, что перед сном мать всегда раздевается догола, даже если в доме не очень жарко.

Большое зеркало находилось в скрытом от его глаз углу комнаты, и, если голая мать подходила к зеркалу слишком близко, подглядывать за ней становилось трудно.

Тело тридцатитрехлетней женщины, регулярно посещавшей теннисный клуб, было все еще стройным и красивым. Обычно перед сном она с головы до ног натиралась духами, а иногда усаживалась на пол перед зеркалом и, уставившись в него рассеянным взглядом, сидела неподвижно, распространяя вокруг аромат духов, такой сильный, что слышно было даже Нобору. В такие моменты Нобору холодел, принимая за кровь алый лак ее ногтей.

Впервые в жизни он так внимательно рассматривал женское тело.

Плечи спускались плавной береговой излучиной, шею и руки покрывал легкий загар, а от основания груди начинались словно светящиеся изнутри белые плодородные поля теплой плоти. Мягкий скос, достигая груди, резко вздымался. Если помять его руками, пурпурные соски поднимались навстречу друг другу. Чуть заметно дышащий живот. Растяжки. О них Нобору вычитал в пыльном красном томе, стоящем на высокой — не дотянуться — полке в отцовской библиотеке.

А потом Нобору увидел и те черные земли. Ему никак не удавалось их рассмотреть, даже глаза разболелись от напряжения... Он припомнил множество скабрзных слов, но и с помощью слов ему никак не удавалось проникнуть воображением в темные заросли.

Наверно, его приятели правы, и там ничего нет. Просто — дыра в теле. Ничего, кроме пустоты.



Интересно, она как-нибудь связана с пустотой его собственного мира?

В свои тринадцать Нобору был уверен, что умен и талантлив (как верили в это и все его приятели); что мир — это набор простых правил; что с самого рождения смерть прорастает в нас корнями, и нам ничего не остается, кроме как холить ее и лелеять; что размножение недостойно внимания, а значит, недостойно его и общество, окутавшее обычную функцию организма ореолом тайны; и наконец, что отцы и учителя совершают громадное преступление уже тем, что являются отцами и учителями. И значит, смерть отца — Нобору тогда было восемь лет — была событием скорее радостным, чем печальным.

Лунной ночью обнаженная мать, погасив ночник, стояла перед зеркалом! Ощущение пустоты в ту ночь лишило Нобору сна. В мягком лунном свете мир предстал в своей истине — в своей пустоте<sup>1</sup>.

«Если бы только я был амебой... — думал он, — мельчайший организм наверняка в состоянии одолеть окружающий морок. А человеческий — ни то ни се, ничего одолеть не может».

По ночам в открытое окно залетал пароходный гудок. В те вечера, когда мать бывала с ним ласкова, Нобору мог спать, не подглядывая. И тогда он видел сны.

---

<sup>1</sup> Автор, вероятно, намекает на «Сутру Сердца Праджня-Парамиты» — «Праджня-парамита-хридая-сутра» (яп. «Ханья харамитта сингё») о пустотности всех элементов бытия и веры в возможность непосредственного постижения бодхисатвой истинной реальности «пустоты» как она есть.

Нобору гордился своим твердым характером и даже во сне не плакал. Сердце у него было твердое, как большой железный якорь, который в любую минуту готов хладнокровно погрузиться на самое дно, в портовую грязь, залежи битых бутылок, резины и старых башмаков, красных беззубых гребенок и железных пивных крышек... Он мечтал, что однажды вытатуирует якорь на своем сердце.

Как-то в конце летних каникул настала ночь, когда мать была с ним особенно строга.

Настала внезапно, без предчувствий.

Матери с вечера не было дома. Она сказала, что в знак благодарности пригласит на ужин Цукадзаки — второго помощника, который вчера любезно показал Нобору судно. Перед выходом мать, в черном кружевном платье, надетом на карминно-красную комбинацию и повязанном белым шифоновым поясом, выглядела особенно прекрасной.

Около десяти вечера она вернулась вместе с Цукадзаки. Нобору встретил их и слушал в гостиной морские рассказы подвыпившего второго помощника. В пол-одиннадцатого мать отправила Нобору спать. Проводила до двери и заперла на ключ.

Ночь выдалась нестерпимо душной. В нише комода воздух был спертый, и Нобору терпеливо выжидал возле комода, в любую секунду готовый прильнуть к щели. Было далеко за полночь, когда на лестнице раздались долгожданные шаги. Ручка его двери зловеще повернулась в темноте, — похоже, кто-то желал убедиться, что дверь заперта. Раньше такого не случалось. Наконец стукнула дверь спальни. Взмокший, Нобору втиснулся в нишу.



В одной из стеклянных створок распахнутого окна отражался свет переместившейся к югу луны. Второй помощник расстегивал на груди рубашку, прислонясь к подоконнику. Нобору видел спину приблизившейся к нему матери, они слились в долгом поцелуе.

Наконец мать, тронув пуговицы на его рубашке и что-то хрипло пробормотав, зажгла тусклый торшер и попятилась в сторону Нобору. Она разделась перед дверцей гардероба, в невидимом его глазу углу комнаты. Грозной змеей прошипел развязываемый пояс, прошуршало, падая, платье. Неожиданно из щели потянуло ее любимыми духами. Нобору не предполагал, что этот аромат может быть таким резким и сильным.

Второй помощник, стоя у окна, внимательно смотрел в его сторону. Глаза блестели на смуглом лице в свете торшера.

Соизмерив торшер с собственным ростом, Нобору прикинул рост второго помощника. Явно ниже ста семидесяти. Сто шестьдесят пять, может, чуть выше. Не самый крупный мужчина.

Медленно расстегнув пуговицы, Цукадзаки небрежно скинул рубашку.

Почти ровесник матери, он выглядел гораздо моложе и крепче сухопутных мужчин, будто отлитый по судовой матрице. Широкие плечи, квадратные, словно крыша буддийского храма, рельефная волосатая грудь, мускулы, похожие на мотки сизальского троса, — казалось, тело его одето в доспехи из мышц, которые он с легкостью скинет в любую секунду. Наконец Нобору изумленно увидел про-

дирающуюся сквозь густые заросли волос внизу живота, гордо вздымающуюся глянцевую пагоду.

На мощной грудной клетке, подсвеченной тусклым лунным сиянием, четко угадывалось дыхание волосков, рассеивающих причудливые тени. Опасно поблескивающие глаза неотрывно следили за женщиной. Отраженный уличный свет за спиной ровным золотым окаемом ложился на квадратные плечи, на массивной шее вздувались вены.

Мать раздевалась долго. Или, может, она специально тянула время.

Внезапно во всю ширь распахнутого окна прозвучал пароходный гудок и заполнил сумрачную комнату. То был крик самого моря, исполненный огромной, не знающей меры, темной навязчивой тоски, до краев загруженный всей страстью черного и гладкого, как китовая спина, океанского течения, памятью сотен тысяч морских походов, восторгов и побед. Пароходный гудок вторгся в стены дома, полный ночного безумия, густой, как черный нектар морских пучин.

Второй помощник резко обернулся и взгляделся в море...

В этот миг Нобору почувствовал, как ему открылось нечто, с самого рождения скрытое в его душе и теперь позволившее ему стать свидетелем свершающегося чуда.

До пароходного гудка он не мог сложить вместе детали неясной картины. Все было готово — словно баночки с цветной краской ожидали своей очереди, — не хватало лишь кисти, которая вмиг позволит изображению проявиться на холсте.

Подобно взмаху кисти, парходный гудок придал картине завершенность!

Все и правда было готово — луна, теплый соленый ветер, запах пота, аромат духов, обнаженные тела мужчины и женщины, след на воде от корабля, след в памяти от чужеземных портов, удушливая узкая щель, твердое мальчишеское сердце...

Но пока это были отдельные элементы «карута»<sup>1</sup>, не несущие особого смысла. Благодаря парходному гудку карты вмиг уловили космические связи, наметив неотвратимый круг, в котором соединились он и мать, мать и мужчина, мужчина и море, море и он.

Нобору едва не лишился чувств от духоты и блаженства. Только что на его глазах переплелись тонкие нити, создав священный образ. Их нельзя рвать. Возможно, их создал он сам, тринадцатилетний мальчишка.

«Их нельзя рвать. Если они порвутся, миру конец. Я пойду на все, лишь бы этого не случилось», — думал Нобору, засыпая.

## Глава 2

Рюдзи Цукадзаки удивился, проснувшись на незнакомой кровати с латунной спинкой. Соседняя половина кровати пустовала. Постепенно он вспом-

---

<sup>1</sup> *Карута* — название карт в одноименной японской игре, где игроки должны правильно соединить друг с другом карты с написанными на них частями стихов.

нил, как, засыпая, женщина говорила, что утром ей надо рано будить ребенка. Тот едет в гости к другу в Камакуру. Обещала, что проводит сына и сразу вернется домой, а до этого момента просила его вести себя тихо.

Он нащупал часы на ночном столике, повернулся к проникавшему сквозь неплотно прикрытые жалюзи свету, чтобы узнать время. Десять минут девятого. Нобору явно еще не уехал.

Он спал около четырех часов. По чистой случайности лег в то же время, что и обычно после ночной вахты.

Несмотря на короткий сон, взгляд его был бодр, в теле гибкой пружиной выгибалось наслаждение прошлой ночи. Потянувшись и скрестив перед собой руки, он с удовольствием рассматривал жесткие волоски на руках, позолоченные пробивающимися сквозь шторы лучами.

Даже в этот ранний час было невыносимо жарко. Штора без малейшего движения повисла на распахнутом окне. Рюдзи потянулся и кончиком пальца нажал кнопку вентилятора на ночном столике.

— Второй помощник, до вахты пятнадцать минут. — Во сне он явственно слышал зов рулевого.

День за днем с полудня до четырех дня и с двенадцати ночи до четырех утра второй помощник стоял на вахте. Море и звезды — вот и все, что он видел в эти часы.

На сухогрузе «Лоян» Рюдзи считали странным и нелюдимым парнем. Он не любил болтовню — единственную отраду моряка, на морском языке

это называлось «травить байки». Разговоры о женщинах и прочее бахвальство... Терпеть не мог житейский треп, призванный согреть их одиночество в море.

Обычно в моряки идут от любви к странствиям, но Рюдзи привела на флот скорее ненависть к суше. Его первая навигация после мореходки совпала с отменой оккупационного запрета на заграничные рейсы, и первые послевоенные суда отправились в Тайвань и Гонконг, Индию и Пакистан.

Тропические пейзажи наполняли сердце радостью. Стоило судну пристать к берегу, как малолетние аборигены тащили связки бананов, папай, ананасов, приносили ярких птичек и обезьянок, чтобы обменять на нейлоновые носки и часы. Он любил отражающиеся в грязной речке кариоты<sup>1</sup>. Может, его прошлая жизнь прошла среди пальм, потому его к ним и тянет?

Между тем по прошествии нескольких лет чужеземные пейзажи совершенно перестали волновать его сердце.

У него сформировался странный характер человека, не принадлежащего по-настоящему ни суше, ни морю. Возможно, моряку как раз и стоит постоянно находиться на берегу. Ведь вдали от него, в долгом плаваньи, хочешь ты того или нет, суша начинает являться во сне. Есть некая странность в том, чтобы грезить сушей, особенно если ты не питаешь к ней теплых чувств.

Рюдзи ненавидел берег, его неизменный облик. Судно тоже было тюрьмой, но иного рода.

---

<sup>1</sup> *Кариота* — род растений семейства пальм.



Двадцатилетний, он пылко рассуждал: «Слава! Слава! Слава! Лишь для нее я явился на свет», — при этом совершенно не представляя, какого рода славы он жаждет. Просто верил, что где-то посреди мировой тьмы есть единственный луч, лишь для него предназначенный и его одного готовый освещать.

Чем больше он размышлял, тем явственнее понимал, что для собственной славы необходимо перевернуть мир. Мировой переворот или слава — третьего не дано. Он жаждал бури. Между тем судовая жизнь научила его только упорядоченности законов природы и остойчивости качающегося мира.

Следуя морской традиции крест-накрест зачеркивать дни на каютном календаре, он день за днем подвергал ревизии свои желания и мечты, вычеркивая их одно за другим.

И только во время ночных вахт, вдали, за темными волнами, среди просторов гладкой, наполненной мраком воды, Рюдзи до сих пор иногда чудилась его слава — она надвигалась украдкой и сверкала, словно светлячки в темноте, с единственной целью высветить его бравый силуэт в мире людей.

В такие моменты, стоя в белой рулевой рубке в окружении штурвала, радара, переговорной трубы, магнитного компаса и свисающей с потолка золотистой рынды, он чувствовал уверенность: «У меня, должно быть, своя, особенная судьба. Блистательная, неповторимая, недоступная обычным парням».

Еще Рюдзи нравились модные шлягеры, он брал в море записи новых мелодий и за время рейса

выучивал наизусть, мурлыча под нос в перерывах между вахтами и мгновенно замолкая при чьем-либо приближении. Он любил матросские песни (которые так презирают гордые моряки), особенно ему нравилась «Не брошу я долю морскую»:

Гудок прозвучал, обрублен канат,  
С причалом прощается судно,  
И, глядя, как родина тает вдали,  
Бывалый моряк украдкой смахнет слезу.

После окончания дневной вахты и до самого ужина Рюдзи в одиночку запирался в пронизанной закатными лучами каюте и раз за разом потихоньку крутил эту запись. Потихоньку, потому что не хотел, чтобы другие офицеры, заслышав музыку у него в каюте, зашли травить свои морские байки. Все это знали и не ходили к нему.

Случалось, слушая эту песню или напевая ее, Рюдзи пускал слезу. Странно, что слова про тающую вдали родину вызывали у него такую эмоциональную реакцию, — у него ведь и родни-то никакой не было, но слезы все текли и текли из какого-то неподконтрольного ему уголка души, даже сейчас, несмотря на прожитые годы, заброшенного им, дальнего, темного, слабого.

Забавно, что слезы никогда не наворачивались у него при виде реально удаляющегося берега. Он презрительно наблюдал за тем, как медленно отступают причал, верфь, грузовые стрелы, крыши складов. За десятки лет обжигающее чувство утраты при команде «Поднять якорь!» притупилось. Единственными его приобретениями стали загар и острое зрение.

Он стоял вахту, засыпал, просыпался, стоял вахту и снова засыпал. Из-за стремления как можно больше времени проводить в одиночестве, в душе его копились чувства, а на банковском счете — деньги. Чем успешнее он определял координаты по звездам, овладевал искусством укладывания канатов и повседневными палубными работами, учился в шуме ночного моря на слух улавливать биение волн, привыкал к блестящим тропическим тучам и разноцветному коралловому морю, тем больше нулей становилось на его счете, пока наконец они не сложились в немыслимую для второго помощника сумму в два миллиона иен.

Когда-то и Рюдзи знал радость транжирства. Девственность он потерял во время первого рейса в Гонконге — старший товарищ привел его к женщине-танка...<sup>1</sup>

Вентилятор гонял сигаретный дым над латунной кроватью. Рюдзи медленно сузил зрачки, словно прикидывал на весах разницу между недавним ночным блаженством и тем жалким первым наслаждением.

В памяти возник темный причал Гонконга, мутная тяжесть лижущей пристань воды, тусклый свет множества сампанов<sup>2</sup>.

Окна гонконгских кварталов и написанные на китайском языке неоновые вывески «Кока-кола» светились вдали за бесчисленными мачтами суде-

---

<sup>1</sup> *Танка* (или даньцзя) — народность в Гонконге, живущая на пришвартованных в гавани джонках и сампанах.

<sup>2</sup> *Сампан* — дощатая плоскодонная лодка.

нышек танка и свернутыми парусами из циновки, тесня скудный свет и раскрашивая черную воду в цвета далекого неона.

Сампан немолодой женщины, в который сели Рюдзи с товарищем, скользил по тесной акватории, беззвучно подгоняемый веслами. Наконец они оказались в средоточии мерцающих на воде огней, в глаза бросилась ярко освещенная полоса женских каморок.

Пришвартованные борт к борту лодки с трех сторон обрамляли внутренний водный дворик. На повернутых к ним кормах сампанов торчали красные и зеленые бумажные флаги, дымились благовония. Под полусферой навеса натянута цветастая материя. За ней — обязательный обитый той же тканью подиум с прислоненным к нему зеркалом, в глубине которого зыбко дрожит отражение их сампана.

Женские лица выражали нарочитую невинность, одни женщины зябли от холода и едва приподнимали с матрасов головы с гладкими, как у кукол, шеями, другие, до колен укутавшись в одеяла, раскладывали пасьянсы. В тонких желтых пальцах мелькали красные рубашки карт.

— Какую выбираешь? Тут все молодые, — обратился к нему товарищ.

Рюдзи молчал.

Он испытал странную усталость и растерянность при мысли о том, что женщина, выбранная им впервые в жизни, дрейфует в стоячей гонконгской воде в отражении тусклых огней и что ради этого мгновения он прошел по морю 1600 миль. Между тем

женщины и впрямь были сплошь молодые и хорошенькие. Он выбрал прежде, чем товарищ успел сделать это за него.

Когда он пересаживался на одну из лодок, щетина на его подбородке встопорщилась от холода, а молчавшая до этого проститутка счастливо засмеялась. Рюдзи почувствовал, что привез с собой счастье. Женщина задернула цветастую штору, загородив вход.

Все происходило безмолвно. Он слегка дрогнул от тщеславия, как при первом подъеме на мачту... Нижняя половина женского тела вяло двигалась в одеяле, словно полусонный зверек в спячке, а Рюдзи на верхушке ночной мачты чувствовал опасно дрожащие звезды. Звезды оказывались то с юга от мачты, то с севера. Иногда даже с востока. Наконец ему показалось, что мачта вот-вот упрется в звездное небо... Едва Рюдзи отчетливо подумал, что вот — он теперь наконец-то узнал женщину, как все уже закончилось.

В дверь постучали, и Фусако Курода внесла поднос с обильным завтраком.

— Прости, задержалась. Нобору только что уехал.

Фусако поставила поднос на изящный столик у окна и до конца отдернула штору.

— Ни облачка. Наверное, сегодня опять будет жара.

Все вокруг, даже тень от подоконника, плавилось словно битум. Рюдзи Цукадзаки уселся в кровати, обернув поясницу мятой простыней. Фусако



была уже тщательно одета, и ее руки, теперь обнаженные не для объятий, плавными движениями разливающие утренний кофе, производили странное впечатление. Это были совсем другие, не ночные руки.

Рюдзи притянул Фусако к себе и поцеловал. Тонкая кожа век в подробностях выдавала каждое движение ее глаз, и даже под закрытыми веками Рюдзи видел, что этим утром она пребывает в спокойном настроении.

— Во сколько тебе в магазин?

— В одиннадцать надо быть там. А ты?

— Думаю ненадолго показаться на судне.

Они демонстрировали друг другу легкое смущение от их нового, сложившегося за один вечер статуса — единственное правило приличий, соблюдаемое ими сейчас.

На ее ясном лице отражалось множество эмоций. Воскрешение. И полное забвение. И беспрепятственная попытка доказать себе, что случившееся ни в коем случае не «ошибка».

— Поешь здесь? — Фусако двинулась к дивану.

Рюдзи вскочил, в беспорядке натянул на себя что попало под руку. Фусако смотрела из окна на порт.

— Вот бы отсюда видно было твой корабль!

— Он на дальнем причале, за городом.

Обняв женщину сзади, он обвел взглядом портовый пейзаж.

Внизу простирались красные складские крыши, на северном причале у подножия гор шло строительство современных складов, напоминающих же-

лезобетонные коробки. Канал был усеян лихтеровозами и парами для переправы, за складскими корпусами тянулся склад лесоматериалов. Бревна отсюда казались не больше карандашей.

На громадной наковальне порта тонким металлическим листом сиял утренний летний свет.

Сквозь голубую хлопковую ткань Рюдзи нащупал ее грудь. Женщина чуть откинулась назад, легонько щекоча волосами кончик его носа. Он снова подумал об этом чувстве: из дальней дали, с другого конца света, наконец добираешься до тепла на кончиках пальцев.

Комната наполнилась ароматом кофе и апельсинового джема.

— Кажется, Нобору что-то почувствовал. Но ты вроде бы нравишься мальчику, так что ничего страшного... И все-таки, как он мог узнать?! Невероятно, — промолвила Фусако с преувеличенным безразличием в голосе.

### Глава 3

После смерти мужа Фусако взяла на себя управление магазином импортных товаров «Рекс», известным всему Мотомати<sup>1</sup> благодаря многолетней репутации. Небольшое и уютное двухэтажное здание в европейском стиле сразу приковывало взгляд. Сквозь массивные белые стены прорывались стрельчатые окна, магазин смотрелся сдер-

---

<sup>1</sup> *Мотомати* — квартал в районе Нака-ку, Йокогама, состоящий преимущественно из одноименной торговой улицы.